

Так и не расстались...

Предисловие

1

Почти треть века назад я переселилась в маленькую парадоксальную страну с весьма густым, пестрым и бурливым обществом, сотрясаемом скандалами, политическими войнами и вечным противостоянием множества этнических общин. И чем дольше живу, тем, как говорила Алиса в «Стране чудес»: «все страньше и страньше делается».

Одним из моих первых иерусалимских знакомств была встреча с поэтом Александром Воловиком. Он сказал: «Во-первых, привыкни к тому, что все они были...»
«Кто? — уточнила я. — И что значит — были?»

«Ну, все они: Авраам, Сарра, Ривка и прочие библейские персонажи, а также все остальные из Нового Завета — Иисус, Пилат, Иоанн Креститель... Просто — были. Существовали, действовали, ходили по этой земле. Это теперь твоя компания, хочешь ты этого, или нет. Они будут возникать в самых неожиданных местах...»

Так оно и случилось.

Я не говорю уже о разных новоявленных пророках, тех, что в белых, расшитых «золотом» одеждах разгуливают по Иерусалиму иногда с посохом, иногда с лирой в руках: вопят пророчества, поют страшными голосами, проклинают на площадях правительство... Я не о плакатах с портретами все новых и новых мессий, порой весьма подходящих к известной нам с детства доске «Их разыскивает милиция»... Я о том, что утром тебе может позвонить

6 приятельница-экскурсовод и между делом предложить присоединиться к прогулке по каменоломням царя Соломона.

«А где это?» — спрашиваешь ты, хотя уже треть века живешь в окрестностях этого удивительного и, похоже, бездонного города.

«Да под Старым городом, — отвечают тебе. — Помнишь, небольшая железная дверь в крепостной стене, недалеко от Цветочных ворот?»

«Как?! — искренне восклицаешь ты. — Я думала, это дверь в какую-нибудь технически-электрическую подсобку».

«Ну, да! — усмехается приятельница-экскурсовод. — Это вход в систему карстовых пещер, в которых Соломон добывал камень для строительства Первого Храма и по которым царь Цедеккия бежал от Навуходоносора в Иерихон. Но там его поймали, убили на его глазах всех его детей, а самого ослепили, после чего угнали в плен в Вавилон. Вот сейчас эти пещеры опять открыли для туристов».

И ты идешь и замороженно смотришь на шерба-тые своды, хранящие следы ударов кирки Соломоновых каменотесов, иходишь в Зал заседаний Великой масонской ложи, в котором еще в середине XIX века проходили-таки эти самые заседания этой самой ложи. И удивляешься вновь и вновь тому, что «все они тут, рядом, — за забором, за поворотом, в крайнем случае, за горкой...».

Писателю здесь раздолье. Надо только уметь разговаривать собеседника, понять, за какую ниточку потянуть, чтобы и узел судьбы развязать, и не оборвать ненароком нити памяти — что непросто. Израильтяне, прошедшие лагеря — часть народа, стремительно сократившаяся за последние годы, — те предпочитают молчать о прошлом. Но иногда вдруг вырвется несколько слов, от которых сожмется сердце.

«Знаете, мне было 10 лет, когда началась война», — как бы между делом замечает известный израильский композитор Яков (Янек) Холландер на приеме в посольстве Польши.

Мы только что «отоварились» у фуршетного стола и стоим с бокалом в одной руке и полной тарелкой в другой... «Я прошел 12 лагерей, «марши смерти»... и несмотря на все ужасы, не помню, чтобы я плакал. Но есть одно ужасное воспоминание, одно из самых для меня тяжелых. Однажды на Рождество охранник подарил мне кусок пирога. Я хотел съесть половину, а вторую отнести больному брату. Но этот человек предупредил, что, если меня поймут с пирогом, я могу прощаться с жизнью. Уж лучше съесть его сейчас, немедленно, целиком... И я ел этот вкуснейший пирог и плакал, как никогда в жизни. Никогда прежде и никогда потом я не чувствовал себя таким виноватым перед братом!.. Прошло столько лет, но, вспоминая этот эпизод, я и сейчас прилагаю немалые усилия, чтобы проглотить горький комок в горле, хотя мой брат жив, здоров и вполне благополучен».

А это просто история Овадьи, греческого еврея из Салоников. Я услышала ее в очереди к ортопеду в нашей поликлинике. Во время войны он оказался в Освенциме и встретил там девушку, как говорит он — «неземной красоты». Звали ее Ализа, и она тоже была из Салоников. Он влюбился в нее и все повторял, что они обязательно пожениются, если выживут... Встретились они уже после войны, на Кипре, в лагере для интернированных.

«Ты помнишь, что мы женимся?» — спросил он.

«Я не могу за тебя выйти, — отвечала она. — Ты потерял всю семью, а я не смогу иметь детей. Мне сделали операцию в Освенциме».

«Я не хочу детей, Ализа, ты слышишь?! — крикнул он. — Я хочу, чтобы ты стала моей женой!»

8 Тогда она попросила его подписать официальный документ о том, что он знает о ее бесплодии и тем не менее собирается связать с ней судьбу... Они поженились и перебрались в Палестину, поселились в центре страны...

А вскоре Ализа забеременела! И тогда лишь она вспомнила глаза того врача, что склонился над ее лицом, когда она очнулась после наркоза: «Придет день, и ты меня вспомнишь», — сказал немец. Он был в маске, она даже не видела его лица.

«Видимо, даже этот палач пожалел девушку, — говорит Овадья, — за ее красоту. Он удалил ей только один яичник».

«И... кто же у вас родился?» — спрашиваю я.

«Сначала дочь, — отвечает он, улыбаясь своим мыслям. — А вообще у нас пятеро детей...»

* * *

Тот же Саша Воловик, в первые дни нашей здешней жизни исполнявший роль Вергилия по всем кругам израильского общества, — человек усмешливый и до известной степени циничный, — сказал мне:

«А вот с израильтянами будь начеку. В большинстве своем это мошенники, идиоты и упрямые кретины... — После чего улыбнулся и добавил: — Но есть среди них чертовски обаятельные люди!»

Добавлю от себя, что за пару десятков лет мне попадались как те, так и эти, но с жизнью здесь меня примирили именно те самые чертовски обаятельные, импульсивные, улыбчивые и горячие люди с непредсказуемой реакцией и невероятными судьбами, с которыми хочется спорить, которым хочется возражать, с которыми приходится ругаться... Но, путешествуя по европейским странам, восхищаясь европейской упорядоченностью и сдержанностью в человеческих отношениях, ты вновь и вновь мысленно говоришь себе, что никогда не променяла бы «свой израильский бардак» на покой и порядок чопорной Европы.

Все мои повести, рассказы и эссе «на израильские темы» отличаются от прочих моих вещей только одним: интонацией. Сама интонация меняется, когда слова и наблюдения, и сценки, и характеры я пробую переместить из плоскости ежедневных впечатлений в плоскость литературную.

Помимо повестей и романов, больших рассказов и объемных новелл, у меня есть целый каскад миниатюр, которые как бы не складываются в единый сюжет, не объединены группой героев, не связаны единым направлением темы. Это просто образы упоительной средиземноморской солнечной жизни посреди бытового сора и забавных лиц, в сердцевине комических будней и библейских праздников.

Такие у меня книжки эссе «Под знаком карнавала», «Больно только когда смеюсь», «Иерусалимцы»...

Эти странные картинки «за жизнь», торопливые зарисовки из записной книжки, которые — считала я — и права быть опубликованными не имеют, возникли так давно, что, называя год и обстоятельства, я обязана кое-что обстоятельно пояснить.

Дело давнее, и смягченные временем опасности вспоминаются уже не в столь тревожном ключе. Но тогда, лет тридцать назад, как-то все сошлось: смена эпох, смена земель, физическая и душевная эмиграция, да еще и война. Очередная израильская (кажется, шестая за все время существования страны) война.

Сейчас о ней мало кто вспоминает; кому сейчас интересен некий ближневосточный тиран по имени Саддам Хусейн, в течение нескольких недель посылавший на головы жителей Израиля вполне увесистые «скады» с предполагаемо химическими боеголовками?

Время было такое: 90-й год, судьбоносный для моей семьи, — год эмиграции и... первой войны в Персидском

10 заливе, когда объектом агрессии иракского диктатора Саддама Хусейна стал не только соседний Кувейт, но и расположенный за тысячи километров и не причастный к конфликту Израиль. (Тогда мы еще не знали, что для агрессии против Израиля вовсе не обязательно, чтобы он был к чему-то причастен, и думали, что это недоразумение большой политики.)

Мы приземлились в аэропорту Бен-Гурион — крошечной частью того миллиона, который обрушился на Израиль, — очумевшие, ног под собой не чувявшие. Получили каждый по противогазу (надо было внимательно слушать солдата, едва соединявшего пять русских слов в попытке объяснить, как пользоваться этим сооружением: как натягивать, застегивать, как не задохнуться... Борис бодро сказал: «Ни черта не изменилось, все, как у нас в армии, в Перми!»)...

С четырьмя этими противогазами мы начали новую жизнь в новой стране. Сняли квартиру на последнем этаже (опять Борис и так же бодро: «поближе к бомбам!»), обклеили по инструкции окна.

И каждую ночь взывала сирена, мы хватали противогазы, натягивали их на себя, на подростка-сына и четырехлетнюю дочь, бежали — согласно инструкции — в комнату, герметизированную на случай газовой атаки, и сидели так, глядя друг на друга в иллюминаторы крокодильих рож, слушая радио и ожидая sireны «отбой». Пережидали очередную порцию этой увлекательной новой жизни.

Именно в те часы ночных тревог мы с мужем отпускали самые горькие шуточки на тему «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». «Приплыли в тихую гавань», — замечал мой муж гулким басом из резиновых недр противогаза.

Кажется, недели через две мне позвонили из Москвы. Это был мой давний знакомый, редактор газеты «Иностранец».

— Дина, — сказал он оживленно, — мы вот тут подумали и хотим предложить вам написать для нашего издания серию очерков об Израиле. Такой вот писательский «взгляд изнутри».

— Боюсь, — заметила я, — мой взгляд будет слишком точно соответствовать поставленной задаче. Это будет взгляд изнутри противогАЗа.

— Неужели? Ну, это, конечно, метафора... Не до такой степени, конечно, но, вот, что-нибудь так: характеры, обычаи, люди, нравы...

— Да вы с ума сошли! — засмеялась я. — Мы здесь три недели, и я ничего не знаю об этой стране по той простой причине, что каждую ночь вся моя семья сидит в противогАЗах, а днем я только выбегаю за огурцами-картошкой и хлебом в соседнюю лавочку. Я не знаю ни единого слова местного языка, кроме странного словечка «бэседер», толком не понимая, что оно означает. Здешнюю жизнь я вижу из окна — вон проехал человек на велосипеде, в черном лапсердаке, черной шляпе, пейсы вьются по ветру...

— Так это же прекрасно! — оживился мой знакомый. — Вот об этом и пишите: что вы свалились прямо в войну, что сидите в противогАЗах, что ничего не понимаете, и про огурцы и картошку, и про лавочку, и про человека на велосипеде, и про шляпу, и про пейсы... Это и будет самым интересным: взгляд писателя, прорастающий сквозь неизвестную реальность, как бы вырастающий на каменистой почве новой жизни. Слово за слово... страница за страницей... И постепенно мы вместе с вами начнем что-то в ней понимать.

Я опустила трубку и задумалась... Конечно, сразу я не кинулась запечатлевать сумбурные и нервные впечатления первых недель нашей новой жизни. Но кончилась эта странная война, пришел веселый праздник пурим с его карнавалом, возникли люди — разные люди с разными

12 судьбами; жизнь стала приобретать какие-то более определенные очертания. Мы сложили противогазы в коробки и поставили их на антресоли до следующей войны. Я вышла из дома и села в автобус номер тридцать пять, следующий в центр Иерусалима...

И когда внутри, как бывает у писателя, что-то шелкнуло и я увидела лица, старые столбы, базарные ряды, а главное — моих новых удивительных соотечественников, — тогда я и задумалась по-настоящему о предложении моего приятеля из «Иностранца». Я ведь и была здесь той самой иностранкой, пока лишь иностранкой, говорящей на совсем ином языке. И жизнь этого общества, описанная моим языком странного пришельца, как раз и могла быть интересной для российских читателей.

И я принялась делать пометки, записывать сценки... Написала первое эссе — «Иерусалимский автобус» — ведь мы тогда были нищими репатриантами, передвигались либо пешком, либо на автобусах, поистине здесь вездесущих и вездеходных. И по мере того как жизнь продолжалась, накапливались эти коротенькие заметки, которые и рассказами-то назвать трудно. Постепенно вокруг нас поднималась (вырастала) эта трудная, горькая, смешная и замечательная страна с ее насущными радостями и бедами, с ее людьми, всегда готовыми рассмеяться, разругаться, обняться...

Как сейчас помню, первый рассказ, вернее, первый ряд картинок, который мне пришло в голову назвать легким и необязательным словом «эссе», назывался «Иерусалимский автобус»... Этот самый ряд картинок, сопровождаемый вполне банальными рассуждениями, был напечатан, встречен с каким-то неистовым восторгом; он вызвал настоящий шквал читательских писем. Меня это ободрило, и я застрочила, тем более что жизнь продолжалась, впечатлений прибавлялось... Впечатлений обо всем: о здешних детях, здешних взрослых, о транспорте, о магазинах, о политике, об образовании, о солдатах и

солдатках... — обо всем, что окружает человека нового, явившегося из совсем другого мира.

Сначала все эти наблюдения на «окрестные темы» публиковались в газете «Иностранец»; потом выяснилось, что самые разные издания в Америке, Германии и Израиле перепечатывают их на своих страницах. Видимо, было что-то в этих летучих сценках общее и волнующее множество людей, решивших полностью изменить свою жизнь тогда, в конце прошлого уже столетия.

Так подряд несколько лет я и писала разные эссе, все больше вникая в свою собственную новую жизнь. И с написанием последнего поняла, какой длинный путь мною пройден. Вот это был опыт!

Опыт эмигранта, чужака; оппонента и соглядатая. Опыт русского писателя за границей.

А со временем я стала читать их на своих выступлениях: написанные простым языком «застольной беседы», они легко воспринимались на слух. Я читала их в залах Германии, Америки, Голландии, Бельгии и Франции и убеждалась, что такие чувства, как тревога, надежда, а также странная уверенность в том, что «бог не выдаст — свинья не съест», являются ключевыми для людей, родившихся на широчайших просторах русского языка.

3

Что касается свободной речи, не изгвазданной авторскими ремарками: всю жизнь мечтаю написать книгу монологов. Люблю слушать рассказы от первого лица...

Знаете, как это бывает? Когда полужнакомый или совсем незнакомый человек, оказавшись с тобой в поезде, в самолете или за одним столом, где-нибудь в санатории, начинает разговор с нескольких ничего не значащих фраз, а потом, ощутив неподдельный интерес, вначале смущаясь, потом все оживленнее, волнуясь и полностью погрузившись в собственную торопливую речь, принимается

14 рассказывать тебе то, что не всегда поведал бы и близкому другу.

Самые искренние, самые безоглядные монологи, это особого рода откровенность: откровенность отчаянная, окончательная — ведь давно известно, что выговориться полностью можно только перед тем, кого ты вряд ли встретишь в дальнейшей жизни. А если и встретишь, вы оба сделаете вид, что того разговора, того распахнутого сердца попросту не было. Но в те минуты, когда звучит одинокий голос, ближе людей, чем рассказчик и слушатель, нет на свете.

Вот это — мой идеал рассказа-монолога: одинокий страстный голос, безоглядно доверчиво ведущий рассказ о своей судьбе. Чтобы в те минуты, когда читатель открывает книгу и становится единственным слушателем, кроме нас двоих, никого бы не существовало...

* * *

К тому же я много путешествую. Вернее — разъезжаю по своим надобностям, сталкиваясь с разными людьми. За последние лет тридцать изрядная часть бывшего советского народа растеклась, разбежалась, разъехалась по всем частям света; каждый пережил некий период, называемый глухим словом «эмиграция», — период отчаяния, ненависти, эйфории, тоски и вновь эйфории, и вновь отчаяния... У каждого за пазухой история, важнее и драматичней которой, как считает он сам, еще не бывало и которую проезжий писатель просто обязан выслушать и запечатлеть. Очень часто после моих выступлений ко мне подходит некто, склоняется над столом, за которым я подписываю книги, и приглушенным голосом произносит: «Вот тут мой телефон... Захотите услышать потрясающую историю жизни — позвоните».

Я, конечно, звоню. И слушаю... Чаще всего «потрясающая история жизни» означает рутинную борьбу эмигранта за место под солнцем в новой стране. Но иногда... Иногда, очень редко, встречается действительно перл

Судьбы, да еще хорошо рассказанный, так, что интонация собеседника долго в тебе звучит, тревожит и не отпускает, пока ты не запишешь этот требовательный страстный монолог.

Мои записные книжки полны подобными монологами, что ожидают перевоплощения в «рассказ от первого лица». И я, захваченная идеей очередного романа, мысленно даю себе слово, что обязательно засяду, когда-нибудь засяду за целую книгу монологов, в которой зазвучат человеческие голоса, переплетаясь, плача, смеясь, радуясь внимательному слушателю...

Пусть они переключаются из записных книжек такими, как вылились и были наспех записаны ручкой или карандашом в самолете, поезде, на скамейке в парке.

И ничем я, автор, не стану перебивать «одиноким человеческим голосом». Ни единым словом. Пусть льется, пусть зависает в паузах, пусть читатель услышит в этих паузах стук незащитного человеческого сердца.

4

Бесчисленное количество раз в интервью отвечала я на вопрос о том, почему я живу в Израиле. Его задают мне самые разные журналисты самых разных изданий. Иногда в подтексте скрыта обида — как же так, русский писатель, проблемы русской литературы... Ну и прочее. В начале я пыталась подробно — с самого начала — разъяснить этот вопрос, рассказывала историю моей эмиграции, старалась передать впечатления и чувства того периода моей жизни. Потом поняла, как правильнее отвечать.

— Понимаете, — говорю я, — мне повезло: я с этой страной совпала в... в жанре. Я работаю в жанре трагифарса, а эта страна в нем живет.

И если вдуматься — в этом ответе наиболее полно выражена правда.

Помню первые дни после приезда: чувство непреходящей оторопи. От всего — от внешнего (расхристанного)